

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВАРИАНТЫ «ОЧЕРКОВ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА»

I

В критических статьях, или лучше сказать статейках Пушкина (статейках, говорим мы, потому что почти все они очень невелики по объему) всегда блещет тонкий и верный вкус великого нашего поэта. Иначе и быть не могло: как ни важно участие бессознательного элемента в поэтическом творчестве, как ни достоверна всеми ныне признаваемая истина, что без этого элемента непосредственности, составляющей сущность того, что называется талантом, невозможно быть великим поэтом, но равно достоверно и то, что при самом великом даре бессознательного творчества поэт не произведет ничего великого, если не одарен также замечательным умом, сильным здравым смыслом и тонким вкусом. То же самое, что о критических статьях Пушкина, надобно сказать и о журнальной деятельности людей, составлявших его литературную партию. Все эти деятели нашей критики отличались вкусом, подобно ему, как и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературного характера, — например, готовностью отдавать должное каждому, с благородною нелицеприятностью.

Таким образом, Пушкин и его сподвижники владели двумя важнейшими качествами, нужными для того, чтобы оказывать сильное влияние на мнения читающей публики. И однако же публика продолжала преимущественно поддаваться влиянию других суждений, — каковы были эти господствовавшие мнения, мы старались показать подробными характеристиками критической части журналов, предшествовавших эпохе приобретения «Отечественными записками» полного господства в литературе, или в качестве продолжателей прежней эпохи, усиливавшихся отстоять хилеющие направления против литературных мнений этого журнала. Не может быть и сомнения в том, что Пушкин и его сподвижники понимали литературные явления тридцатых годов гораздо вернее, нежели судили об этих явлениях журналы, мнения которых мы характеризовали. Почему же эти верные по-

иятия не приобретали господства в литературе и массе публики? Ответ готов у каждого читателя: журнал, бывший органом пушкинского направления в критике, был слишком мало известен публике, как довольно мало известна ей была и «Литературная газета» Дельвига, предшествовавшая этому журналу, «Современнику» 1836—1846 годов. Подробное объяснение этого явления, по самому заглавию наших «Очерков», лежит вне пределов нашей задачи, оно относится к истории пушкинского направления в нашей литературе; потому из многих причин этой малоизвестности кратко укажем только одну, касающуюся специально критической части этого журнала. Для быстрого распространения каких бы то ни было мнений в публике необходимо высказывать их настойчиво, упорно, громко, с жаром увлечения, неутомляющегося скучными для самого критика повторениями и распространениями, не пренебрегающего ни подробным разбором книг и статей, которые важны только по своему значению для публики, а не по внутреннему интересу для искусства, ни спорами с людьми, вступать в споры с которыми вовсе не приятно и не почетно. Одним словом, критика, как всякая общественная деятельность, имеет много сторон, тем более полезных для публики, чем неприятнее они для самого деятеля. Критик, который хочет сохранить в своей деятельности столько же внутреннего довольства предметом своих рассуждений, сколько может сохранить его ученый, столько же гордого спокойствия, сколько может сохранить его поэт или беллетрист, — такой критик пишет для немногих. Пушкин и его сподвижники знали это; они не хотели писать для большинства, для так называемой массы публики, и довольствовались спокойным сочувствием избранных читателей, думая, что качество вознаграждает за количество. Это было ими положительно высказываемо много раз.

Таким образом, несмотря на несомненные достоинства критики пушкинского направления, она не имела — потому что не хотела иметь — обширного влияния. Кто вздумал бы писать историю развития литературных мнений не в обществе, а в кругу дилетантов, который довольствовался тихою и замкнутою для остальной массы общества жизнью, тот нашел бы много материалов для отрадного и светлого в критической деятельности этого избранного круга; нашел бы, что многие истины, введение которых в сознание большинства совершилось только после жестокой борьбы, всегда признавались школою Пушкина и тихо разливались чрез ее критику в избранном кругу. Это составит прекрасный эпизод будущей истории нашей литературы. Мы теперь собираем материалы только для одной главы, если можно так выразиться, — для главы «о распространении справедливых литературных идей в массе публики»; отрадный эпизод о пушкинской критической школе лежит, как видят читатели, вне пределов нашей задачи и без того уже слишком обширной; мы могли только вскользь упо-

мянуть о нем и неохотно покидая журнал, беглый анализ только двух статей которого уже обнаружил нам в конце предыдущей статьи столько верных и благородных воззрений на литературу, мы должны остановиться на другом журнале, который был для массы публики первым распространителем господствующих ныне понятий о русской литературе.

Читателям известно, что эта заслуга принадлежит критике, которой органом были в течение семи лет (1840—1846) «Отечественные записки», потом около года наш журнал, и о которой потом затерялся слух. Мы будем говорить о ней, следовательно преимущественно об «Отечественных записках», которые долго и славно единовластительствовали в русской литературе. Читателям известно, что отношения «Отечественных записок» к нашему журналу были не всегда дружелюбны, или, лучше сказать, постоянно недружелюбны. Poleмика доходила иногда и до совершенной враждебности. Но читатели конечно должны ожидать, что в том отделе «Очерков», к которому мы теперь приступаем, не найдут ни малейшего отголоска этих отношений: мы пишем не историю журнальной полемики, — следовательно неуместно было бы обращать здесь внимание на споры, не имевшие влияния на характер мнений, происходившие от причин чисто случайных. Притом же, эта полемика относится ко времени, которого мы здесь не касаемся, ограничиваясь блестящею эпохою «Отечественных записок», когда в этом журнале соединялись труды всех тех людей, которые после разделились между «Отечественными записками» и «Современником». После 1847 года, русская критика вообще заметно ослабела: она не шла уже впереди общественного мнения, — она была счастлива, если успевала быть хотя поздним и хотя слабым отголоском его; она не имела влияния, она подвергалась влиянию, — потому вовсе не имеет той важности для истории литературы, как предшествовавшая ей критика 1840—1847 годов, которая одна владела огромным влиянием, одна сохранила доселе свою жизненность; все остальные направления в нашей критике последних двадцати лет были тунеедыными растениями, возникшими на ее почве, из нее заимствовавшими всю свою жизненную силу, если обладали некоторым призраком жизни; все, что явилось в нашей критике вне ее, было пустоцветом; потому одна она должна называться критикою и ей одной принадлежит имя «критики гоголевского периода нашей литературы», — пусть же это название, при отсутствии собственного имени, будет служить ей собственным именем.

Стремления критики 1840—1847 годов, или как мы согласились называть ее, критики гоголевского периода, кажутся нам, как и всякому здравомыслящему человеку настоящего времени, вполне справедливыми; мы все привязаны к ней горячею любовью преданных и благородных учеников. И если каждый из нас, — каждый человек, любящий свою литературу и следивший

за ее развитием, признает, что это «мы» относится и к нему, — если у каждого из нас есть предметы столь близкие и дорогие сердцу, что говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избегать всяких выражений, в которых выражались бы его чувства, наперед уверенный, что и при всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча; если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика гоголевского периода занимает между ними, наравне с Гоголем, одно из первых мест. Потому-то говорить о ней мы будем как можно холоднее: в настоящем случае нам ненужны и почти противны восклицательные знаки и восторженные фразы: есть такая степень уважения, преданности, сочувствия, любви, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто невыражающее всей полноты чувства, как нечто неуместное, излишнее.

Будем же говорить самым холодным тоном; потому что дело идет о слишком дорогих для нас предметах.

II

До последнего времени, люди, писавшие о нашей литературе, не отдавали должной справедливости заслугам Надеждина. О нем говорили очень редко, да и то вскользь, и почти всегда эти беглые отзывы были неблагоприятны ему. Только в прошедшем году заговорил о нем наш журнал. Излагая историю развития понятий о значении Пушкина, мы объясняли основания, по которым Надеждин, писавший в 1828—1830 годах под именем экс-студента Надоумко, произносил строгий приговор всей тогдашней литературе. Это был едва ли не первый голос в защиту энергического критика, многими забытого, всеми другими осуждаемого. Тогда мы не нашли себе товарищей в деле восстановления доброй памяти этого имени. И когда, назад тому три месяца, во второй статье наших «Очерков» мы упоминали о нем, наш голос попрежнему оставался единственным, возвышающимся в честь ему. Не думали мы тогда, что смерть осуждаемого и полузабытого писателя так скоро явится печальною восстановительницею общего уважения к нему в нашей литературе. Теперь нет нужды защищать его: все соединились в похвалах умершему, которого не чтили при жизни. Прекрасная статья о нем, напечатанная в № 5 «Русского вестника» г. Савельевым, встречена общим одобрением и сочувствием... жаль только, что хвалы не проникают в могилы.

Если бы здесь должно было представить полную оценку всей многосторонней ученой деятельности Надеждина, мы отказались бы от такой задачи, превышающей силы не только наши, но и каждого отдельного человека из нынешних наших писателей или ученых. [Есть многие отрасли знания, в которых у нас не най-

дется ученого, равного ему специалиста, равного] [По многим отраслям]. [Много могли бы мы перечислить отраслей науки, в каждой из которых не найдется у нас специалиста, равного ему обширностью знаний. А в нем эти знания, которых достало бы для приобретения ученой] [А он, кроме того, что знал, был один первым специалистом по этим наукам] [глубоко изжил еще]. [совершил по многим другим труды, которыми двинуты] [из которых каждым двинул вперед] [расширил область знания]. Богословие и церковная история, философия, эстетика, политическая история, литературы всех народов, русская история, классическая и славянская филология, археология, — десятки других отраслей знания были глубоко изучены им. По многим из этих наук, мы не имеем равного ему специалиста, по всем другим он был равен первым нашим специалистам обширностью и глубиной знаний, по каждой из них оставил труды, которые или подвинули вперед ее знание в России, или подвинули вперед самую науку — последнее должно сказать почти о всех отраслях науки, касающихся России. Если исполнится высказанное многими желание, чтобы издано было полное собрание его сочинений, мы увидим, что их изучение...

(На этом рукопись обрывается.)

III

Условия, в которых действовала критика гоголевского периода, были, как видим, столь новы, что по необходимости, возлагаемой самою сущностью дела, она должна была раскрывать собою для нашего литературного сознания совершенно новое содержание. Понятия, на которых она должна была опираться, факты, о которых должна была судить, до такой степени превышали своею глубиной и значительностью все, о чем прежде могла говорить русская критика, что опять по необходимости должны были померкнуть и исчезнуть в наших глазах все предшествовавшие ей периоды нашей критики, как [слишком] маловажные в сравнении с нею. Если б было иначе, это значило бы, что у нас в гоголевский период не было критики, соответствующей требованиям времени, достойным образом исполняющей свое назначение. Она была, исполнила свое назначение достойным образом, — и действительно, в этом роде никогда еще наша литература не имела ничего подобного ей по могуществу и блеску.

Но если положение, приготовленное для критики гоголевского периода развитием нашей литературы, было очень выгодно, то и требования, возлагаемые на нее этим положением, были очень значительны: нужны были огромные силы, чтобы удовлетворять им. Но дело известное, что у истории никогда не бывает недостатка в человеке, какого требуют обстоятельства. Потому нашелся и тогда человек, какой был нужен для русской критики.

Человека этого — будем называть его автором статей о Пушкине — невозможно не признать гениальным. Мы не слишком щедры в употреблении этого эпитета. Гениальных людей на свете до сих пор известно очень немного. В людях с самыми блестящими, повидимому, качествами ума оказываются большею частью признаки некоторой ограниченности, не в том, так в другом отношении. Исключений мало; и, например, в новой русской литературе их не более двух: кроме указанного нами человека, Гоголь — и только. Вероятно, Кольцов стал бы третьим в этом ряду, если бы прожил долее, или обстоятельства позволили его уму развиваться ранее. Гениальный человек производит на вас впечатление совершенно особенного рода, какого не производят самые умные, самые даровитые из других людей: вы видите в нем такой ум, которому ясны самые трудные вопросы, который даже не замечает, что в них есть трудность. Когда он говорит, и для вас становится ясно и просто все; вы дивитесь не тому, что он разрешил вопрос, а тому, что вы сами не разрешили этого вопроса без всякого труда: ведь стоило только взглянуть на дело простыми, вовсе не мудрыми глазами. Камень летит к земле, стало быть земля притягивает его к себе — и открыт закон тяготения, дело так просто, что и думать, кажется, тут не над чем. Поставить яйцо на остром конце — штука самая нехитрая, а вопрос об Америке был не труднее того, как признал сам Колумб. Каждый офицер, кажется, мог бы знать не хуже Наполеона, что решение войны зависит от сосредоточения всех сил на главном пункте. Каждый человек, читавший на своем веку хоть одну книгу, мог бы, кажется, догадаться, что все в мире изменяется, что одна крайность влечет за собою другую, что все живое растет — а в открытии этих истин заключается едва ли не главная тайна гегелевой философии. Необычайная простота, необычайная ясность — удивительнейшее качество открытий гениального ума. Но дело в том, что он берется за существеннейшую сторону вопроса, от которой все зависит, а из всех вопросов опять берется за самый существенный в деле, от которого зависит понимание всех остальных, — оттого-то и ясен для него каждый вопрос, каждое дело. Удивительно, подумаешь, как и мне, и вам, и каждому не случается каждый день делать гениальных открытий: ведь, кажется, будь всякий из нас на месте Колумба, или Ньютона, или Наполеона — у каждого достало бы ума догадаться о том, о чем они догадались. И за что называют их гениальными людьми? — просто, они были люди не без здравого смысла. И, если хотите, это так: гений — просто человек, который говорит и действует так, как должно говорить и поступать на его месте человеку с здравым смыслом. Гений — ум, развившийся совершенно здоровым образом, как высочайшая красота — форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Если хотите, гению и красоте не нужно удивляться; скорее надобно было бы ди-

виться тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиться, как ему по натуре всегда следовало бы развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение, тупоумие, потому что оно противуестественно; а гений прост и понятен, как истина, — ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде.

Такое впечатление совершенной простоты и ясности производит критика гоголевского периода. Она провела в наше литературное сознание самые простые истины, ныне для каждого здравомыслящего человека ясные, как светлый день. Но значение этих истин очень велико: они произвели решительную эпоху в нашей умственной жизни. По своему значению для развития русского общества, деятельность человека, который был органом этой критики, занимает в истории нашей литературы столь же важное место, как произведения самого Гоголя.

Автор статей о Пушкине, — был одарен редким красноречием: написанные наскоро, не пересмотренные, не исправленные, его статьи по увлекательности изложения, все бесспорно принадлежат к лучшему, что только до сих пор есть в нашей прозе; едва ли кто-нибудь писал у нас так, как он. Многое из написанного им может быть по силе и прелести изложения сравнено с лучшими страницами подобного рода у величайших европейских писателей. Впрочем, и тут нет ничего удивительного: истинное красноречие дается человеку вместе с благородною натурою и энергическим стремлением к истинному и добруму. Великие ораторы были красноречивы потому, что душа у них была великая и благородная. Надобно ли упоминать о могучей силе его диалектики? Ведь это опять всегдашнее качество людей с великим умом. Надобно ли говорить об идеальном благородстве его характера? Ведь это опять необходимый дар природы людям, которых обрекает она жить только для провозглашения высоких идей добра, которые не знают ни счастья, ни покоя, ни желаний вне одного стремления служить благу своей родины, людей, о которых можно сказать, как о нем:

Он знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Мы не знаем, назначала ли его природа исключительно к критической деятельности: гениальной натуре доступны бывают многие поприща, она действует на том, которое в данных обстоятельствах находит самым широким и плодотворным; нам кажется, что в Англии этот человек был бы парламентским оратором, в Германии того времени — философом, во Франции — публицистом; в России он сделался автором статей о Пушкине. Вообще говоря, по общей физиономии всех трех первоклассных наших критиков — Полевого, Надеждина и автора статей о Пушкине мы можем заключать, что замечательный критик не ро-

дится, а делается критиком, вследствие особенных условий, представляемых ему сосредоточением жизненных интересов его страны на литературных вопросах. То же говорит нам пример знаменитых германских критиков прошедшего и нынешнего столетия. Служению эстетике они обрекли себя добровольно, обдуманно, не потому чтоб сочинять именно рецензии было для них особенно приятным делом, а просто потому, что это был лучший из доступных им путей к действованию на жизнь общества. Таковы были Лессинг, Мерк, Шлегели. И однако же, — странное, повидимому, дело, — именно эти люди, для которых эстетические вопросы были второстепенным предметом мысли, занимавшим их только потому, что искусство имеет важное значение для жизни, а художественное достоинство необходимо литературному произведению для высокого значения в литературе, — именно эти люди имели на развитие литературы, не только по содержанию, но и в отношении художественной формы, решительное влияние, какого не достигал ни один критик, думавший преимущественно о художественных вопросах. Этот повидимому странный закон объясняется тем, что необходимый для критика дар природы — эстетический вкус есть только результат способности живо сочувствовать прекрасному в соединении с пронзительным здравым смыслом. Эти качества в очень высокой степени принадлежали автору статей о Пушкине, — потому не будем удивляться, что он отличался чрезвычайно тонким вкусом. Людей с тонким вкусом встречается много; но были у него качества более редкие: беспристрастие и твердость. Он готов был отдать каждому должное, забывая всякие личные отношения; но несмотря на пылкость характера, редко расточал излишние похвалы, на которые критика обыкновенно бывает так щедра относительно писателей, принадлежащих к одному с нею литературному лагерю. Одним словом, характер его критики был таков, что внушал полное доверие и читателям и писателям.

Все это необходимые условия для могущественного влияния критики. Но жизнь и силу им давала страстная любовь ко всему живому и благому. Без этой любви все остальные достоинства были бы бесплодны. Во всем этом мы повторяем голос общего мнения, с которым едва ли кто вздумает не согласиться. Но теперь мы должны коснуться и того вопроса, в ответе на который несогласны с довольно многими из людей, нами уважаемых. Имел ли автор статей о Пушкине столько знаний, сколько требовало высокое место в литературе, усвоенное ему природными дарованиями? Повидимому ответ на это дается самым достоинством его критики и тем, что из всех литературных битв он выходил победителем, хоть часто имел противниками людей, слывающих великими учеными. Какого еще спрашивать лучшего доказательства на то, что он обладал знаниями, для него нужными? И однако же, некоторые в том сомневаются. Когда было ему

время приобрести обширные знания? — говорят они: он всегда был так обременен работою для приобретения насущного хлеба, что не мог дать себе основательного ученого образования. Мы сами лично знали его, прибавляют иные: нам положительно известно, что он не был человеком ученым. Отвечаем на эти сомнения из уважения к некоторым из людей, введенных ими в странное недоразумение.

Автор статей о Пушкине не читал в подлиннике ни греческих классиков, ни Тассо, ни Шекспира; — он не знал санскритского языка и чешского наречия; не мог отличить славянского манускрипта XI века от манускрипта XIII века, — кому эти знания кажутся необходимыми, тот может жалеть о его необразованности. Но мы заметим, что если мерить русских ученых по строгим требованиям так называемой основательной западной учености, то очень немногие (конечно мы не говорим о специалистах: математиках, естествоиспытателях, медиках, филологах и т. п., между ними много людей, истинно ученых: но разумеется не такой учености требуют от литератора) имеют право на имя ученых людей, и мы положительно утверждаем, что именно те люди, которые наиболее толкуют об учености и хвалятся своею ученостью и прослыли за великих ученых, оказываются на деле очень плохими учеными. Из наших ученых (кроме специалистов) мы знаем только одного, который действительно заслуживал имя человека с европейскою ученостью, — это был покойный Надеждин. Другие мнимые великие ученые могут сказать о себе, если будут откровенны:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь, и как-нибудь...

именно, они знают кое-что и кое-как, — и за то им честь, потому что прежде и таких людей у нас было очень мало. Но они не должны упрекать других в недостатке того, чего не имеют сами. Итак, вопрос становится определеннее: дело идет не о том, имел ли автор статей о Пушкине такую ученость, какой обладают некоторые из европейских литераторов, а только о том, наши так называемые великие ученые имеют ли основание думать, что он уступал им основательностью знаний. На это можно отвечать решительно: не имеют никакого основания. Чем он занимался, о чем он говорил, что ему было нужно знать, то знал он очень хорошо, как очень немногие у нас. Если бы спор шел о предметах малоизвестных, мы не приняли бы на себя отважности говорить с такою уверенностью; но сомневаются в чем? — хорошо ли он знал гегелеву философию, на которой основывались его общие воззрения; хорошо ли он знал русскую литературу, о которой судил; были ли ему известны иностранные литературы на столько, на сколько нужно знать их русскому критику? — не нужно иметь чрезвычайных познаний или особенной смелости, чтобы

судить, действительно ли доказал тот или другой литератор свои основательные знания в подобных предметах — ведь это спор не о китайском языке. Мы решительно думаем, что люди, которые, зная критику автора статей о Пушкине, сомневаются, достаточно ли ему известны были иностранные литературы и гегелева философия, обнаруживают только собственное незнание в этих предметах. Еще забавнее сомнения, относящиеся к русской литературе, которой никто не знал так хорошо, как он. Нам кажется, что толковать о недостаточности его знаний могут только или люди малообразованные, или педанты, еще менее имеющие права на имя образованных людей. Доказать это самым подробным образом очень легко, если только будет надобно, — но мы хотим надеяться, что в этом не будет нужды.

Надобно сказать, что надлежащему его развитию много помогли те самые обстоятельства его судьбы, которые для некоторых служат основанием к недоразумению, которого мы коснулись: дело в том, что автор статей о Пушкине был человек бедный, предоставленный с очень ранней молодости самому себе, и что до двадцати двух или трех, быть может, до двадцати пяти лет, когда сблизился он с Станкевичем, никто не заботился о его развитии. Нужда, как известно, прекрасная школа для тех немногих, которые способны пройти эту школу. А еще лучшая школа для умного человека то, когда его голова не набивается с малолетства различными кривыми толками, которые потом так трудно бывает исправить. Выучиться легче, нежели разучиваться и переучиваться. Он с свежими силами, с непритупленным софизмами чувством истины начал свое образование, когда был уже в юношеских годах: прежде учился он мало, следовательно и забывать ему было нужно только немного. Это важная выгода. Потому и естественно, что он постигал истину быстрее, нежели кто-нибудь. Он сам дал себе образование — потому и естественно, что он дал себе такое образование, какое было ему нужно. Он не имел возможности успокоивать себя предубеждением, которому так часто поддается большая часть людей, получивших так называемое основательное образование: «это мне уж известно; это я давно уж знаю» — потому очень естественно было ему приобрести знания действительно основательные и полные, в той мере, как то было нужно. И в самом деле, несмотря на положительные доказательства того, что средства к образованию, которые он имел, были скудны, очень мало найдется людей, которые обладали бы такую основательною и прочною образованностью. В том нет сомнения, что многое в этом отношении, как и вообще во всем развитии автора статей о Пушкине, надобно приписать влиянию Станкевича и его друзей.

Иметь более или менее обширные знания — еще не особенная редкость или важность. Важнее быть человеком с прочным образованием. Но еще гораздо важнее для писателя, который имеет

решительное влияние на публику, гораздо важнее иметь твердую и стройную систему воззрений, в которой одно понятие не противоречило бы другому, одно положение не опровергалось бы другим. У нас это встречается очень редко, при запутанности и бессвязности понятий, которые вливаются в нас воспитанием и обществом. Вообще говоря, почти у каждого из нас в образе мыслей есть что-то хаотическое, смутное. Человеку, привыкшему к логической последовательности, трудно даже понять, каким образом в одной голове могут соединиться понятия и привычки совершенно несоместимые. Даже лучшие умы не свободны от этого недостатка, — в пример укажем на Пушкина. С одинаковою искренностью писал он страницы, совершенно разноречащие по своему духу, так что повидимому автор одной тирады должен был бы ненавидеть автора другой, — а между тем, обе написаны одним человеком, который и не понимал, что жестоко противоречит сам себе. Еще резче эта хаотичность понятий в Гоголе: она так велика, что многие могли объяснять ее только недобросовестностью или умственной болезнью. С нашими так называемыми мыслителями та же самая история. Даже в Надеждине, едва ли не сильнейшем из них, очень заметен этот общий недостаток. Шаткость понятий и бессвязность, хаотичность мнений — самая общая черта у нас. Обыкновенно даже наиболее развитые люди сами не знают, к чему ведет принимаемое ими основание, из каких посылок выведено отвергаемое ими следствие. Исключение составляют и теперь очень немногие люди, а пятнадцать или двадцать лет тому назад число их было еще гораздо менее. Автор статей о Пушкине был так счастлив, что не только развил в себе стройный и твердый образ воззрений на литературные вопросы, — этому чрезвычайно много помогли обстоятельства, о которых упомянули мы выше, — но и распространил его в публике, которая теперь в свою очередь начала иметь прекрасное влияние на литературу, — и не допускает ее уклониться от прочных оснований, положенных автором статей о Пушкине, по крайней мере не позволяет уклониться так далеко, как, без охранения со стороны публики, могло бы это случиться при стремлении многих талантливых писателей возвратиться на прежнюю, до-гоголевскую колею.

Все эти редкие качества ума и характера, которыми природа наделила автора статей о Пушкине, были посвящены, как мы уже указали в предыдущей статье, служению одной высокой идее — служению на пользу родной страны, без страха и лицепрятия. Любовь к родине, мысль о благе ее одушевляла каждое его слово, — и только этим страстным увлечением объясняется и непреклонная, неутомимая энергия его деятельности, и его могущественное влияние на публику и литературу.

Постараемся теперь обозреть эту деятельность в ее последовательном развитии.

< О СОЧИНЕНИЯХ ГОГОЛЯ >

...Они (критические статьи. — *Ред.*) не являлись, конечно, не по недостатку желания критики высказать свои понятия о Гоголе — напротив, очевидно, что критика сочувствовала ему более, нежели кому бы то ни было из [великих] русских писателей, — но по трудности изложить эти понятия в такой форме, какая требовалась русскою публикою, — хотя, повидимому, ничего не было легче и проще, как написать эти статьи, постоянно обещаемые и никогда не являвшиеся. потому что определенное понятие о значении Гоголя составить гораздо легче, нежели, например, о неуловимом, эфирном характере поэзии Пушкина; здесь не нужно было освобождать и себя и читателей от каких-нибудь неточных взглядов, как это приходилось делать, говоря о Пушкине — напротив, можно сказать, что верное понятие об отличительных чертах деятельности Гоголя уже было не только в критике, но и в публике. Сам Гоголь, прекрасно охарактеризовавший себя во многих местах своих сочинений, исполнил большую часть задачи, предстоявшей критике. Оставалось только развить эти мысли, высказать их с необходимыми пояснениями, высказать сильно и жарко — но это самое и было затруднительно. Таким образом, о Гоголе не было написано ясных и подробных статей, как о Пушкине; суждения о нем ограничивались рецензиями, прекрасными и верными, но не достаточно обширными и ясными. Еще не успели они достичь той массивности, которая необходима для прочного действия на нерешительные умы, как явились «Выбранные места из переписки с друзьями» — и Гоголь, к сожалению, стал в новые отношения к литературе и публике, противоположные прежним. Критика должна была доказывать, что эти отношения ложны. Без сомнения, это было только временною необходимостью, которая, будучи раз исполнена с надлежащею твердостью, не могла впоследствии мешать критике обратиться с прежнею или еще более жаркою любовью к «Ревизору», «Мертвым душам» и другим дивным произведениям Гоголя. Но вскоре после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями» в русской критике водворилась мелочность и вялость, продолжающая господствовать до сих пор. Тут уже нечего было ожидать широкой и проникающей в массу оценки Гоголя, то есть целой литературной эпохи, можно сказать, целой исторической эпохи в развитии русского самопознания, но и более сплоченные явления не были оценены надлежащим образом — не только о Гоголе не была в силах сказать ничего замечательного критика последних годов — что дельного и нужного успела она сказать о гг. Григоровиче или Писемском, о гг. Полонском, Фете или Щербине? Потому последним памятным для публики приговором о Гоголе остались суждения, вызванные его «Перепискою с друзьями». Они не могли производить впечатления, выгодного для литературного

значения Гоголя. Убеждение в его величии было во многих его читателях ослаблено этими последними впечатлениями, а во всех почти остается, как было десять лет тому назад, робким, нерешительным, не имеющим веры в собственную основательность инстинктивным сочувствием, еще ожидающим себе доказательств и внушения несомненности от критики.

Если бы нынешняя критика могла, то должна была бы исполнить относительно Гоголя обязанность, которой не успела исполнить современная ему критика, оставившая нам впрочем прекрасные указания, которые нуждаются только в развитии. Мы не уверены, что и это будет ею сделано, как должно. Тем менее можно ожидать удовлетворительной оценки Гоголя от нашей статьи, которая и по спешности, с которою написана, и по самому объему, не более как простое извещение о выходе в свет творений писателя, замечательнейшего из всех, каких доселе представляла русская литература. Мы только должны сказать, каково новое издание его повестей и драматических произведений, перепечатанное с издания 1842 года, и дать читателям отчет в содержании произведений, которые под названием «Сочинений Н. В. Гоголя, найденных после его смерти», являются ныне в печати в первый раз.

Четыре тома «Сочинений» — точное повторение прежнего издания — в этом состоит их существенное достоинство. Мы слышали многих, находящих неизящным формат и шрифт нового издания, которые сохранены совершенно те же, какие были в прежнем, так что на вид трудно отличить их одно от другого. Выбор шрифта и формата несколько не зависел от нынешнего издателя. г. Трушковского, который нашел более двух томов «Сочинений» уже отпечатанными, еще при жизни самого Гоголя, и по необходимости должен был докончить издание точно так, как оно было уже начато. Конечно, издание 1842 года и новое дагерротипное повторение не могут быть названы образцами типографского изящества, но в этом отношении не уступают они большей части русских книг. Притом, сочинения Гоголя имеют достаточно внутренней привлекательности, чтобы быть драгоценными в каком бы то ни было издании. Точно так же и второй том «Мертвых душ» по необходимости должно было напечатать шрифтом и в формате двух изданий первого тома, чтобы не вводить разнокалиберности в одну и ту же книгу.

Этот второй том «Мертвых душ» включает в себе пять глав, которых старые черновые тетради нечаянным счастьем уцелели от сожжения; и, кроме того, так называемую «Авторскую исповедь» Гоголя. Необыкновенный интерес, возбужденный во всей русской публике этими рукописями, — интерес, которому не было примеров с того времени, как явилось лет тридцать тому назад «Горе от ума» — служит лучшим доказательством того, как драгоценно для всех нас имя великого писателя. Едва ли

даже должны мы говорить об этих только что напечатанных произведениях, как о новых для публики. Они новы только для критики, которая действительно еще не имела случая рассуждать о них.

Что же должно сказать об этих произведениях? Достойны ли они великого таланта Гоголя по литературным своим качествам? И, принадлежа той эпохе жизни автора, которая ознаменовалась «Перепискою с друзьями», напоминают ли они прежнего Гоголя, или только сочинителя этой переписки? Каково было направление художественной деятельности его после страшной перемены в его личных отношениях к своим почитателям? И действительно ли его «Авторская исповедь» есть нелицемерная исповедь и насколько уясняет нам она загадочную личность великого писателя, бывшего также не совсем обыкновенным человеком по уму и характеру?

На пяти-шести страничках нашей статьи невозможно обстоятельно исследовать этих вопросов. Но читатель в праве сказать, что мы не должны были и упоминать имени Гоголя, если хотим совершенно уклониться от них, и хотя в кратких намеках мы должны отвечать на них.

Пять глав второго тома «Мертвых душ» уцелели только в черновой рукописи. Это обстоятельство, уже само по себе отрицающее возможность положительно решить, ниже, наравне или выше первого тома «Мертвых душ» в художественном отношении было бы их продолжение, окончательно обработанное автором, не так еще важно, чтобы заставить нас совершенно отказаться от суждения о том, потерял или сохранил всю громадность своего таланта Гоголь в эпоху нового настроения, выразившего [ся] «Перепискою с друзьями». Но общее суждение о всем, сохранившемся от второго тома, делается невозможным потому, что этот отрывок сам в свою очередь есть собрание множества отрывков, написанных в различное время под влиянием различных настроений мысли, и, как кажется, написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечерканных без пополнения вычеркнутых мест, отрывков, еще не приведенных в соответствие между собою, разделенных пробелами, часто гораздо более значительными, нежели самые отрывки, наконец, тем, что многие из напечатанных ныне страниц были, как видно, отброшены в сторону самим автором, как неудачные, и заменены или должны были быть заменены другими, написанными совершенно вновь и погибшими для нас. Все это заставляет рассматривать каждый такой отрывок порознь и произносить суждение о на пяти главах «Мертвых душ» этой потери единственного интереса, который возбуждал еще его к жизни. Тентетников проводил время следующим образом:

Набирать петитом стр. 8, 9, 10 от # до S. потом стр. 34,

35, 36, 37 и одну сторону с стр. 38 до слов: «в осветившихся комнатах, т. е. от знака # до S. и далее стр. 39, 40, 41 от # до S.

Разведав от прислуги о любви Тентетникова к Бетрищевой и ссоре с ее отцом, Чичиков вздумал помирить их и устроить свадьбу, чтобы совершенно втереться в благосклонность и к Тентетникову и к Бетрищеву, склонить их на продажу мертвых душ, а если можно, извлечь из друзей и другие выгоды, какие представятся. Он приступил к делу следующим образом:

набирать стр. 46, 47, 49, 50, 51 и от # до S.

с таким опустившимся, потерявшим всякую волю человеком, как Тентетников, легко было сладить; посмотрим, каков человек Бетрищев и как Чичиков успел забрать в свои мягкие руки этого упорного и упрямого человека, привыкшего, повидимому, командовать всеми, его окружающими:

набирать стр. 56, 57, 58, 59, 60, 61 от знака # до S.

Услышав имя Тентетникова, дочь генерала вошла в комнату
набирать стр. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 от знака # до S.
И Чичиков приступает к изложению своих просьб, на которые, конечно, не получит отказа от очарованного генерала.

После таких отрывков невозможно и думать о том, что Гоголь когда-нибудь мог сделаться недостойным своей великой и благодарной славы. Что же сказать, например, о речи генерал-губернатора, этой речи, столь знаменательно заключающей собою неоконченные страницы великого произведения и уже знаменательно прерывающейся на середине возвышеннейшего воззвания? Чичиков пойман в составлении подложного завещания; но в его деле замешано столько людей, что ужас обнимает благородного начальника, и он, созвав своих подчиненных, говорит им, что судьба их всех в его руках, что он может предать их всех заслуженной участи. Но, продолжает он, я предлагаю вам в последний раз возможность спастись.

набирать стр. 240, 241, 242 от знака # до S.

Тут нечего хвалить: кто не преклонится перед человеком, последними словами к нам была эта речь, тот достоин быть читателем Гоголя.

«Авторская исповедь», которая напечатана в виде приложения ко второму тому «Мертвых душ», представляет чрезвычайно важные материалы для уяснения не только странной, обнаруженной «Перепискою с друзьями», перемены в отношениях Гоголя к публике и критике, но и вообще для характеристики чрезвычайно оригинальной и загадочной личности Гоголя. Статья эта написана по поводу неблагоприятных для автора отзывов о «Переписке с друзьями» с целью служить ему оправданием, объяснением происхождения его книги и органической связи, соединяющей это странное явление с его прежними произведениями, которых отрицание видела критика во многих письмах. Было бы и

слишком долго и быть может трудно входить здесь в разбор того, насколько основательны оправдания Гоголя и насколько справедливо было осуждение, заслуженное его книгою. Но весь тон этой статьи убеждает, что исповедь, в ней заключающаяся, добросовестна, что в ней Гоголь искренно, без всяких прикрас, изображает свою личность, как сам понимал ее. Тяжелая обязанность, им на себя принятая, не может быть исполняема иначе как в патетическом настроении духа, и потому все слова его проникнуты жаром увлечения, которому многое, быть может, представляется в слишком темных красках — таковы всегда бывают искренние признания — они необходимо бывают проникнуты характером самоотрицания, самообвинения даже тогда, если делаются с целью оправдания. И, быть может, Гоголь представляет себя во многих отношениях худшим, нежели каков он был на самом деле. И однако же быть может потому, что сила самоотрицания дается только высотой и силою нравственной личности человека, вы, прочитав эту странную исповедь, говорите: «Как велик и благороден был этот человек, несмотря на все свои слабости и странные заблуждения!» Впечатление, произведенное исповедью Гоголя, можно сравнить с тем суждением, которое вы невольно произносите, дочитав «Confessions» Руссо, в которых так беспощадно отдает он на общий позор свои пороки и ошибки: «Да, прав был этот человек, гордо и смело говоря: каков бы я ни был, но я был одним из лучших людей в мире!» Правда, Гоголь был горд и самолюбив, но он имел право быть горд своим умом, своим страстным желанием блага родной земле, своим гением, своими заслугами перед всем русским обществом. Он сказал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся его жизнь была страстною борьбою с невежеством и грубостью в себе, как и в других, вся была одушевлена одною горячею, неизменною целью, — мыслью о служении благу своей родины.

Но искренна ли эта исповедь? Ведь Гоголя называют человеком скрытным, даже любившим притворяться, пускать пыль в глаза? Ну да, он сам говорит, что, подобно всякому человеку с глубокой натурой и великим умом, не любил выдавать на превратный людской суд своих задушевных мыслей. Но содержание и тон «Авторской исповеди» ручаются за глубокую правдивость признаний. Высказав их в часы увлечения желанием представить свою жизнь и стремления, ею управлявшие, в истинном свете и тем оправдаться от обвинений, его подавлявших, он говорит: «Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснение с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений... Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что

сочинения тесно связаны с делом моей души»... И вот, увлекшись по своей страстной натуре, он рассказал нам все: как с первой юности самым задушевным его желанием было служить родине; как он сначала понимал это служение, как гражданскую службу по какому-нибудь ведомству, как бился, чтобы найти в этой службе место по себе, как, мучимый постоянною тоскою, возбуждаемою и природным расположением характера, и житейскими опытами и всем окружающим, он, чтобы убить свою тоску, начал писать, передавая бумаге все, что его мучило, и усиливаясь хохотать сквозь слезы, ...как просветлело перед ним сознание, что эти произведения, написанные не в надежде авторской славы, разоблачая перед его соотечественниками их собственное положение, составляют уже служение на пользу общую, и он со страстью предался этому служению; как потом, опять мучимый сознанием, что мало приготовлен к этому служению, мало знает и человека, и идеал, на который должно указывать человеку, и родину, которую изображает, он начал учиться и размышлять, не превратно ли он взялся за дело своего учения, мы не хотим рассматривать; и как при этом было не впасть в тяжелые ошибки человеку, которому ни образование, ни окружавшее его общество не указывало ни истинной исходной точки, ни истинного пути? И чем сильнее был ум этого человека, тем резче были и его заблуждения, чем с большею ревностью стремился он, тем более вовлекался в ошибки... Но дело в том, что стремление его было пламенно, неутомимо, что цель, к которой он стремился, была благородна и высока — и мы, жалея об ошибках, осуждая их следствия, не можем не преклоняться перед прекрасною, пламенною и благородною личностью этого нового Фауста, пожираемого жаждою высокого и благого знания и благородной деятельностью...

Как ни велики твои ошибки, мученик скорбной мысли и благих стремлений, но ты был одним из благороднейших сынов России, и безмерны твои заслуги перед родиной.

(На этом рукопись обрывается)

<РАЗГОВОР ОТЧАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО, А БОЛЕЕ НЕ ЛИТЕРАТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ>¹

... Легко было бы привести десятки других примеров. Но к чему обременять излишними доказательствами истину, которая, кажется, довольно ясна сама по себе, без всяких аргументаций? Я хотел только сказать вам, милостивый государь, что для пользы самих литераторов надобно желать, чтоб хотя изредка доходил до их слуха голос публики, не посвященной в тайны литературного кружка, ничего не знающей о справедливых, быть может, но чуждых объективному достоинству литературного

произведения для публики соображениях и обстоятельствах, которые, как мы, читатели, замечаем, имеют иногда влияние на мнения журналистов. Я понимаю, что близкое знакомство с личным характером автора, с различными обстоятельствами и условиями, от которых зависело развитие идеи, осуществленной в произведении и даже самый вид этого произведения, может во многом объяснять журналисту значение рассматриваемой повести или пьесы. Не сомневаюсь также, что привычка отдавать читателям основательный отчет в своих мнениях развивает в писателе, постоянно занимающемся критикою, тонкость вкуса и систематическую стройность понятий. Одним словом, охотно соглашаюсь я, что постоянные рецензенты наших журналов имеют большие преимущества над читателем, находящимся вне сношений с людьми, принадлежащими к литературному кругу. Но с тем вместе предполагаю, милостивый государь, что вы не найдете моих слов совершенно ошибочными, если я скажу, что соприкосновение с мнениями таких читателей может приносить критике довольно значительную пользу. Правда, литературный кружок представляет собрание людей, замечательнейших по уму и образованности, в высокой степени одаренных благородством характера и любовью к истине; представляет, можно сказать, цвет народного самосознания. Но вы, милостивый государь, должны согласиться со мною, что всякое, даже самое лучшее, общество людей, тесно связанных одинаковым родом деятельности, подвергается опасности впасть в односторонность и исключительность, если его мнения не будут освежаться постоянным приливом свежих мыслей от массы всей нации. Это, можно сказать, несомненная истина. Для нас, публики, столь же осязательно, что соприкосновение литературы и литераторов с публикою не так живо и деятельно, как бы того надобно желать. Не решаюсь оправдывать в том публику: коренная решительная власть и в этом деле, как во многих других, принадлежит ей, и, конечно воля публики (или, точнее говоря, недостаток воли в публике) — причина коснения, если смею так выразиться, в котором находится наша литература. Все зависит от твердого желания публики. Скажи она: «я хочу, чтобы было иначе» — и литература наша, конечно, оживилась бы. Но не оправдывая вполне публику, замечу, однако, что и литераторы, в особенности же журналисты, до некоторой степени неправы: они, кажется, не все возможное делают для возбуждения в публике более живого сочувствия к литературе. Например, хотя б сослаться на те отношения между публикою и литературой, о недостатке которых завел я речь: если бы журналисты и вообще писатели усиленно вызывали читателей к сообщению им впечатлений, производимых в публике различными явлениями нашей словесности, вызов не остался бы ни совершенно безответен, ни совершенно бесплоден. Поверьте, что г. *** или г. *** нашли бы людей, же-

лающих поделиться с ними своей симпатией к их произведениям или недовольством на некоторые недостатки их деятельности, если бы читатели были ободрены на такое дело уверенностью, что г. *** и г. *** не считают себя жителями Олимпа, вознесенными выше соприкосновений с простыми смертными. Даже и опасение явиться непрошеным корреспондентом и подвергнуться насмешливой улыбке за свое жаркое сочувствие не всех останавливает, если верить г. Чистомазову, недавно возвратившемуся в наш город из Петербурга, где имел он случай сблизиться с некоторыми литераторами. От одного из них г. Чистомазов слышал, что г. *** действительно получал от своих читателей довольно много писем, ободрявших его к продолжению его деятельности, и, быть может, не оставшихся без влияния на энергию этой полезной деятельности. Еще более нашлось бы желающих выражать свои мнения о любимых публикою писателях, если бы публика знала, что писатели того желают. Еще гораздо больше найдется читателей, которые стали бы выражать журналистам впечатления, производимые в них книжками журналов, если бы журналы того хотели, — потому что, не играя в нашей жизни слишком важной роли, литература имеет однако же для публики гораздо более значения, нежели предполагают многие любимые нами писатели, и, быть может, предполагаете вы сами, милостивый государь. Г. Чистомазов вывез из Петербурга довольно бездушный и бесцеремонный тон суждений о литературе и литераторах, — и на поверку оказалось, что он заимствовался им от писателей, с которыми сблизился. Он теперь сам уверен и хочет уверить нас, что писатель — нечто вроде Вестриса или г. Перро, известных балетмейстеров; что писатели — собратья г. Дрекслеру, нашему токарных дел мастеру, который приготавливает нам очень изящные корзиночки, табакерочки, тросточки и гребеночки. Мы восхищаемся тонкою работою г. Дрекслера, вы аплодируете прекрасному искусству г. Перро, — и тем кончается дело. Иных понятий я и не ожидал от писателей, с которыми сблизился г. Чистомазов, потому что действительно и сам не вижу большой разницы между изделиями г. Дрекслера и произведениями людей, которые сообщили моему знакомому такое воззрение на поэзию, — а личность и деятельность каждого есть основа его мнений. Не знаю, милостивый государь, какое впечатление производят на вас подобные мнения, но не могу удержаться от естественного предположения, что когда есть в литературном кругу люди, думающие таким образом о сущности занятия, ими избранного, составляющего их призвание, то и остальные, не разделяющие их понятий, должны отчасти ощущать на себе их вредное действие, в том отношении, что привыкают видеть высокое значение литературы отвергаемым. — «Если писатели, которых я знаю за людей умных и образованных, сами считают литературу, — свое собственное занятие, основание своих прав на более или менее

почетное место в обществе, — только грациозным пересыпанием из пустого в порожнее, только обтачиванием фраз и нанизыванием жемчуга (по персидскому выражению), — если между самими писателями существуют такие понятия, то как же должны смотреть на литературу читатели, для которых уважение к ней не связано с правами собственной личности на общее уважение?» — (так должен думать каждый из литераторов, понимающих литературу как дело жизни, а не безделье красивого пустословия) — «если сами писатели придают литературе так мало значения, то в глазах публики она должна иметь его еще менее. Потому, не ошибочна ли моя задушевная мысль считать свои литературные стремления чем-то серьезным? Не напрасно ли я стараюсь говорить с публикою о том, что волнует мою душу? Понимает ли меня читатель, как своего друга, как собрата, требующего у него опоры и в свою очередь старающегося дать ему опору на бодрый путь по трудному полю битв жизни?» И, конечно, такие сомнения и опасения относительно здравого смысла и здорового сердца читателей не могут не охлаждать до некоторой степени благородного одушевления, которое одно дает силу достойно исполнять тяжелый долг святого призвания благородным и могучим словом действовать на разум и сердце своих сограждан.

Милостивый государь! Я не имею ни права, ни претензии говорить от лица публики, но позвольте мне, одному из русских читателей, подать голос за себя и за многих других читателей, с которыми сближала меня жизнь. Между образованными людьми гг. Чистомазовы встречаются редко, — да и те исправляются, как скоро в них пробуждается душа. Людей, бездушных по природе, очень мало; а всякий, у кого в груди бьется сердце, а не лежит кусок дерева, в жилах течет кровь, а не вода, — всякий живой человек ищет жизни и мысли, а не грациозного пустословия. И, поверьте, милостивый государь, всякое живое явление в литературе пробуждает в огромном большинстве публики гораздо более сочувствия, нежели...

Впрочем, я останавливаюсь здесь. Боюсь увлечься в пафос, не знаю, как вы его примете, — быть может вы посмеялись бы над одушевлением провинциала, а если не посмеялись бы, не считите за оскорбление, что я усумнился: ведь вы, гг. литераторы и журналисты, иногда сомневались же в нас, ваших читателях, — я могу привести на то доказательства из любого журнала. Примите же уверение в искренней преданности, — не моей лично и вам лично: какая вам нужда до моей преданности или непреданности? а в преданности каждого живого человека в русском обществе каждому благородному русскому писателю.

Один из многих

Тверь.

20 февраля 1856 года.

Р. С. Перечитав письмо перед отправлением на почту, вижу, что кончил его на самом начале, а в сущности дела еще и не коснулся. Сущность же дела состоит в следующем. Повесть г. Тургенева «Рудин» произвела очень сильное впечатление на всех порядочных людей, с которыми случалось мне встречаться в эти дни. Но дело опять-таки не в том. Дело в том, что она оживила и освежила меня. Вы (в февральской книжке «Современника») обещались поговорить о ней в следующем номере вашего журнала. Признаюсь вам, суждения наших журналов о г. Тургеневе до сих пор не удовлетворяли меня. Они как будто не знали, какое огромное значение в русской литературе имеет г. Тургенев, по своему влиянию на публику, да и на развитие самой литературы. Я, признаюсь вам, боялся, что вы не оцените всего достоинства последней его повести. Я хотел сказать вам: «говорите об огромном его значении смелее, решительнее; не бойтесь обвинений в увлечении, не бойтесь преклониться перед благородным писателем, которому так много обязаны мы все. Публика раньше вас оценила г. Тургенева, и стыдно вам будет не сделаться в этом случае ее органом, если опоздали быть ее руководителем».

Чтобы показать вам, каковы мнения публики, я записал один из разговоров, возбужденных между людьми, которых я вижу, появлением «Рудина». В своем письме хотел я дать вам подробные замечания о мнениях, высказанных различными людьми в продолжение разговора о самых этих людях — потому что образ понятий каждого из нас зависит от его личности, — о причинах и обстоятельствах, заставляющих одного думать так, а другого иначе, и подвергнув все мнения строгой критике, высказать мое собственное суждение о «Рудине» и его авторе. Все это осталось не исполненным, и разговор посылается вам без всяких комментариев, — это невыгодно для моего самолюбия, потому что мое мнение не получило достаточного развития (в разговоре я принимал, как увидите, только самое ничтожное участие); но главная цель моя достигнута: вы имеете перед собою мнения нескольких читателей и можете видеть, как, за исключением гг. Чистомазовых, которых у нас очень мало, думает о г. Тургеневе вся остальная публика, то есть девяносто девять из ста образованных читателей. Представителями этого огромного большинства являются три человека, с тремя радикально различными взглядами на нашу литературу: во многом они не согласны между собою, но в одном совершенно сходятся: «из действующих ныне литераторов наших, нет ни одного, заслуга которого перед публикою равнялась бы заслугам г. Тургенева». Осмелюсь дать вам совет, нескромность которого извиняется его справедливостью: когда будете писать о «Рудине», не забудьте указанного мною факта — из действующих ныне писателей нет никого, чьи заслуги перед публикою равнялись бы заслугам г. Тургенева. Журналисты

слишком долго не хотели принимать в соображение этого факта, — почему, я не знаю и не хочу знать; знаю только, что он должен быть основанием всех суждений о г. Тургеневе, и что чем выше понятие ваше о значении произведений г. Тургенева, тем оно истиннее и тем ближе к мнению каждого живого человека в русской публике.

РАЗГОВОР ОТЧАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО, А БОЛЕЕ НЕ ЛИТЕРАТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Комната средней величины. Вокруг чайного стола сидят:

Смирнов, мужчина высокого роста, атлетического сложения, львиной осанки, с широкой грудью, с очень умными глазами и выражением чрезвычайного добродушия на прекрасном лице. *Бульдогов*, человек среднего роста, довольно мизерной наружности и скверного характера; лицо его часто вспыхивает, но только на минуту, — постоянное выражение его — холодность и рассеянность; чем резче и оскорбительнее его слова, тем тише и апатичнее голос. *Ведрин*, наружность которого не описывается, по известности ее для памятливых читателей*. *Наконец Я*, хозяин, лицо бледное и неинтересное. Все они — люди от 25 до 35 лет; и коротко знакомы между собою. *Бульдогов* моложе. *Ведрин* старше всех.

Чистомазов (очень изящный молодой человек, с умным и честным лицом, с манерами очень выдержанными, превосходно умеющий владеть собою даже в минуты восторга, — которых впрочем он никогда не испытывал), входя: А, вы, здесь, Смирнов! Очень рад. Я намерен, господа, принести на Смирнова жалобу вашему достоуважаемому трибуналу (подает руку Смирнову, потом очень просто, по-дружески, Бульдогову и мне; Ведрину жмет он руку с какою-то особенной развязностью, сквозь которую проглядывает робость).

Смирнов (с улыбкою, полною удовольствия от встречи с Чистомазовым, пожимая его руку). Чем же я виноват перед вами, наш добрейший и милейший джентльмен?

Чистомазов. Во-первых, тем, что вчера заставили нас всех скучать и женироваться, пригласив к себе, по непростительному слабодушию, столько нелепых джентльменов. Во-вторых, тем, что ныне поутру доставили мне еще три часа скуки.

Смирнов. Это каким образом?

Чистомазов. Зачем вы рекомендовали мне «Рудина», как что-то замечательное? Без ваших слов, я не стал бы читать

* Эту фразу мы заменили описанием наружности Ведрина. — *Ред.* (примечание Н. Г. Чернышевского.)

эту неудачную, — как теперь убедился горьким испытанием, — повесть. Бульдогов, отдаю вам на жертву Смирнова.

Бульдогов. А если у меня не раскроется рот против него?

Чистомазов. Тем хуже для вас: вы губите свою репутацию.

Смирнов. Послушайте, однако, Чистомазов: ужели «Рудин» действительно вам не нравится? Это удивительно!

Чистомазов спокойно и с достоинством делает утвердительный жест.

Бульдогов (сквозь зубы, будто про себя). Еще бы! Разумеется, ему «Рудин» должен не нравиться.

Смирнов (с жаром). Но послушайте: вы человек со вкусом; как же может вам не нравиться эта прекрасная повесть?

Чистомазов. Вероятно, потому и не нравится, что я, как вы говорите, человек со вкусом. Вы судите по увлечению, по снисходительности. Я сужу по требованиям изящного вкуса. Я ишу художественных достоинств.

Я. — Неужели «Рудин» не имеет художественных достоинств?

Чистомазов. К сожалению, очень мало. Мне это очень прискорбно. Я в Петербурге имел случай много слышать о Тургеневе и заочно полюбил его, как человека, очень приятного в обществе, и как истинного джентльмена. Но я должен сказать, что «Рудин» его слаб в художественном отношении.

Смирнов. Почему же?

Чистомазов. В нем очень мало того, что называется художественностью.

Бульдогов. Позвольте спросить: что вы называете художественностью?

Чистомазов. Это слово имеет очень ясный смысл. Взгляните на картину Жерара Дова — какая изумительная отделка в каждой подробности! Как чисто и тонко обрисована каждая ничтожнейшая морщинка, каждая едва заметная жилка! Кажется, вы видите поры на этом лице. Взгляните на ландшафт Миериса — как отчетлив и красив каждый листок! Как игриво пробирается сквозь листья луч солнца! Как он трепещет в воде! — Вот что я называю художественностью.

Бульдогов. Хорошо же вы ее понимаете. Сам Буало не удовлетворялся этим.

Смирнов (вопросительно смотрит на Ведрину, как бы ожидая, не захочет ли он сказать чего-нибудь. Ведрин молчит. Тогда Смирнов начинает с жаром). Согласимся на минуту с понятиями Чистомазова. В них есть значительная доля правды. Но с этой стороны, мне кажется, можно защитить «Рудина». Отчетливо исполненных картинок в нем довольно, — (обращаясь ко мне): Дайте-ка...

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ «ФАУСТА»

Русская литература имеет два перевода первой части «Фауста»: один был сделан Вронченкою, другой — Губером. Стих в переводе Губера недурен, но смысл подлинника передан очень неудовлетворительно. Вронченко точнее держался подлинника, но, к сожалению, стих его перевода тяжел и самый язык очень неправилен. Потому мы думаем, что г. Струговщикова оказывает нашей литературе важную услугу, давая ей новый перевод, достоинства которого оценят читатели.

[Читателям, как мы думаем, тем приятнее будет видеть перевод г. Струговщикова в этой книжке, что он служит как бы дополнением к повести г. Тургенева, в которой упоминается о первой части «Фауста».]

Мы почли не бесполезным приложить к переводу г. Струговщикова несколько кратких примечаний, поясняющих смысл тех мест, которые требуют комментария.

Ред.

ПРОЛОГ

Идея пролога внушена Гете первыми стихами книги Иова.

Мефистофель

Так называется в легенде, послужившей основанием для трагедии Гете, диавол, которому продает свою душу Фауст. Происхождение этого имени темно. Обыкновенно производят его от Merhitis (моровое поветрие). Если такое производство справедливо, вторую половину слова легко объяснить греческим словом ὄρθελεῖν — быть приятно. В таком случае «Мефистофель» значило бы: тот, которому приятно убивать людей. Нет надобности говорить, что у Гете Мефистофель — выражение безграничного отрицания (в теории и в жизни), скептицизма. Скептицизм есть зло, страдание, но он не губит сильного душою человека. Так и Мефистофель не в силах погубить Фауста. Отрицания ведут только к новым, более чистым и верным убеждениям. Так и Фауст, по мысли Гете, выраженной в прологе, должен выйти из борьбы с Мефистодом как победитель его, выйти еще более прежнего достойным служителем верховной истины. Господь, предающий его на искушение Мефистоду, ведает, что Фауст только очистится этим искушением.

«Он духом чист, хотя в нем веры нет». В подлиннике: «Хотя теперь он служит мне в сумраке, но скоро выведу я его к ясности». Чистый дух (то есть, по смыслу Гете, выражение разума) предчувствует, что человеку (Фаусту) должно достичь истины и добра силою отрицания, безграничного сомнения. С отрицанием, скептицизмом разум не враждебен: напротив, скептицизм служит

его целям, приводя человека путем колебаний к чистым и ясным убеждениям.

«Так только стоит согласиться». В подлиннике: «Какое пари хотите держать, что я отниму его у вас, если только вы дадите позволение повести его моим путем?» Скептицизм восстает против разума, хвалится, что может одолеть разум и лишить человека всех благородных стремлений, лишь бы только найти к нему доступ. Но разум не боится результата этого испытания. Кстати: первый монолог Мефистофеля начинается в подлиннике словами:

«Так как ты приближаешься и спрашиваешь меня обо всем, да и вообще любишь видеть меня, то я и вмешался в толпу этой челяди», и он начинает говорить о человеческой жизни, между тем как прежде говорилось о законах природы. В мыслях о природе нет места скептицизму: там все совершается в дивной гармонии. В человеческой жизни не так: наблюдая ее, невольно готов бываешь усомниться во всем, — и в добре и в истине. Потому-то Мефистофель и обращает внимание исключительно на человеческую жизнь—она рождает его. Но человек выше бездушной природы, и потому Мефистофель гордо смотрит на тех, которые довольствуются созерцанием природы, не занимаясь человеком.

«И по мне, чтоб кровь играла с молоком». В подлиннике: «Благодарю вас (что вы уступаете мне Фауста на время его земной жизни), потому что до мертвых я не большой охотник».

«Сперва реши, потом хвались задачей». В подлиннике: «Хорошо, предоставляю его тебе. Оторви его дух от начала, его произведшего, низведи его долу своим путем, если успеешь овладеть им: и да постыдишься ты, если должен будешь сознаться, что добрый человек в неясном своем стремлении верно отгадывает прямой путь», то есть: природа человеческого духа восторжествует над тобою, сколько ты ни мучь его; овладеть им вполне ты (отрицание, скептицизм) не можешь; натура человека ведет его к добру и истине.

«Твой путь открыт». В подлиннике: «Во всяком случае, можешь смело являться передо мною. Я не имею ненависти к подобным тебе».

«За злом добро, за тьмою свет виднее». В подлиннике: «Человек слишком склонен утомляться деятельностью, он слишком любит безграничный покой. Потому-то я охотно даю ему товарища, который раздражает и возбуждает его, не зная себе покоя, как чорт. А вы, истинные сыны божии, радуйтесь жизненно-богатою красотою! Создающееся, вечно деятельное и живое, объемлет вас милыми узами любви, и дайте мыслью прочность колеблющимся явлениям жизни!» То есть: отрицание, скептицизм необходим человеку, как возбуждение к деятельности, которая без того заснула бы. И именно скептицизмом утверждаются истинные убеждения.

Ночь (в кабинете Фауста).

«Вот книга Нострадама». Нострадам — известный астролог.

Макрокосм, на языке магии — вселенная. Созерцание вселенной успокоительно и отраднo: она возвышает дух человека своим величием и восторгает своею гармониею. Но восхищение это непродолжительно: вселенная подавляет человека своею необозримостью; он не может возвыситься до того, чтобы чувствовать себя гражданином целого мироздания; он житель земли, и к земле влекутся его мысли из своих заоблачных полетов. Созерцая символ духа земли, Фауст чувствует его близость, его доступность. Но и быть гражданином всего земного шара — свыше сил человека: он не может оторваться от своей страны, от своего времени, — Фауст не выносит союза, на который вызвал духа земли; он снова падает пред необъятностью этого духа, который исчезает, обличив ничтожество Фауста.

Вагнер — *famulus* Фауста, как известно, представитель тех людей, которым, по их ограниченности, недоступно сомнение и по сухости натуры не нужна полнота жизненных наслаждений. Вагнер доволен всем, ничего не отрицает. Зато какие жалкие понятия о вещах он имеет! *Famulus* назывался в средние века бедный студент, обыкновенно уже не молодых лет, который исправлял разные домашние дела профессора, прислуживал ему в ученых занятиях и т. д., и за то имел у него квартиру, стол и освобождался от платы ему за слушание лекций.

«Бумажной мудрости сухому ползуну». В подлиннике: «Сухому существу с пресмыкающимся (чрезвычайно ограниченным) умом».

Вагнер выведен в этой сцене, конечно, затем, чтобы сильнее высказалась невозможность для Фауста ограничиться теми успокоительными, но чрезвычайно узкими и пошлыми идеями и чувствами, которыми утешаются люди, подобные Вагнеру. Он не может остановиться на том, чем удовлетворяется Вагнер, ему нужна истина более глубокая, жизнь более полная, потому-то он и необходимо должен войти в союз с Мефистофелем, то есть отрицанием.

Сознание своего бессилия так тяжело для Фауста, что он с наслаждением думает о смерти; но врожденная привязанность к жизни останавливает его: перед ним в решительную минуту воскресают светлые воспоминания детства. Ночь, в которую совершается первая сцена трагедии, — ночь перед пасхой, звон колоколов вызывает в Фаусте мысли о том, чему он в детстве верил (хоры ангелов и жен), о светлом времени детства и первой молодости. Да, жизнь очаровательна для живого человека! Фауст не может отказаться от нее.

За городскими воротами.

Фауст не может отказаться от жизни. Но прежняя кабинетная жизнь невыносима для него: ему нужна другая жизнь, другие отрады. Он думает найти их в обыкновенном обществе. Но тут пробуждаются новые, сильнеешие сомнения: Фауст не может быть членом общества — он чувствует, что не умеет быть полезен для людей, как бы ему хотелось: его считают превосходным человеком, удивляются его самоотвержению, благодарят за благодеяния, а он мучится мыслью, что вместо добра, которого он хотел, его действия принесли только вред людям. Тут-то и является ему Мефистофель, то есть рождается в душе Фауста безусловное отрицание всего, что прежде считал он целью своей жизни.

«Я и отец, за темные дела». В подлиннике: «О, если бы ты мог читать в моей душе, как мало заслуживали мы с отцом такую славу!» «Так нежну лилию порой» и т. д. «Нежная лилия», «лев», «царица молодая» (в подлиннике: красный лев, лилия и молодая царица) — алхимические термины, употреблявшиеся в медицине. Красный лев — алхимический элемент, из которого рождалось золото; лилия такой же элемент, из которого рождалось серебро; царица молодая — философский камень — рождалась от соединения (выражаясь алхимическим термином: бракосочетания) красного льва с лилиею.

«От севера и жалит и язвит» и т. д., то есть: северный ветер приносит стужу, восточный — засуху, южный — зной, западный — дожди и наводнения.

«Вон черный пес во мраке рыщет» — легенда, на которой основана трагедия, говорит, что Мефистофель принимал на себя вид собаки.

Мефистофель является Фаусту, когда он убедился, что не только знать истину, но и быть полезным для людей не может он. Из человеческого общества, в котором Фауст думал найти отраду, уносит он в свой кабинет зародыш полнейшего отрицания.

Ночь (снова в кабинете Фауста).

Мефистофель-скептицизм прокрадывается к Фаусту так, что он сам этого не замечает, пока, чтобы успокоиться от недоумений смущенного духа, не обращается мыслью к богу. Тут только Мефистофель, не терпящий святого имени, является Фаусту в своем настоящем образе, т. е. Фауст видит, что потерял даже веру в бога, что от наблюдения человеческой и своей собственной жизни (что выражено сценой за городскими воротами) поколебалось его убеждение не только в собственных силах (как прежде), но также и убеждение в разумности порядка вселенной, поколебались идеи добра и правды.

«Что разуметь под словом» и т. д. В подлиннике: «Вот уже

я и недоумеваю. Я не могу так высоко ценить «слово». Надобно перевести иначе, если я озарен светом духа. В начале был разум. Но должно обдумать эту первую строку, чтобы не ошибиться от поспешности. Разве разум производит все? Надобно было бы сказать: в начале была сила. Но не успел я еще дописать этого слова, а уже чувствую, что оно неудовлетворительно. Но вдохновение помогает мне, я понимаю, и с уверенностью пишу: в начале было бытие (действительность, факт, die That)».

Соломонов ключ — кабалистическая книга, в которой, между прочим, находятся формулы для заклинания стихийных духов.

Фауст воображает, что Мефистофель подчинился его заклинанию, т. е. что человек может оставаться господином над духом отрицания, однажды пробудившимся в нем. Он успокоивается этою надеждою (засыпает под обаятельные напевы своей мечты), а между тем, отрицание уже ускользает из-под власти его (Мефистофель уходит из комнаты, в которой воображает запереть его Фауст) и является уже независимо от его воли силою. (Мефистофель приходит — в следующей сцене — как свободный дух, который соглашается служить Фаусту, имея в виду только собственные свои выгоды).

Странствующими схоластиками назывались в средние века побродяги, занимавшиеся различными учеными шарлатанствами — преимущественно чернокнижием. Это сословие имело такую дурную славу, что было несколько раз отлучаемо от церкви собраниями немецких епископов.

«Всем смерть, а смерти все боится». В подлиннике: «Все, что имеет начало, заслуживает погибели»; непреложно только одно вечное — законы природы и стремления человеческого духа.

Пентаграмма — кабалистический знак, пятиконечная звездочка.

Мефистофель мог войти через порог потому, что линии, образовавшие обращенный наружу угол звездочки, не были плотно сомкнуты.

К а б и н е т (сцена договора).

Отрицание овладевает Фаустом. Он предается Мефистофелю потому, что теперь для него все равно: нет для него ясных примет, по которым можно было бы различать добро от зла, истину от лжи; его высокие стремления к истине и благу, к наслаждениям, упоение которых проникало бы все его существо, и к деятельности, которая была бы вполне благотворна для людей, — все эти стремления остались неудовлетворенными, неисполненными, и утрата прежних надежд отозвалась в нем нестерпимым страданием. Он решился покинуть эти стремления, как ложные и бесполезные.

Но как покинуть их, как забыть о них? — разве чад страстей заглушит мучительную потребность истины и блага. Таков совет Мефистофеля. Фауст согласен — для него, кажется ему, осталась

одна отрада — самозабвение. Он хочет испытать, не дадут ли ему страсти этой отрады.

Но Мефистофель только тогда овладеет Фаустом, если в самом деле страсти (односторонние увлечения) доставят Фаусту самозабвение, если он будет очарован ими, если в самом деле угаснет в нем потребность высших стремлений, исчезнет потребность наслаждений полных и полной истины.

Таков договор. Человек остановится на отрицании только в том случае, если оно удовлетворит ему; а пролог уже сказал нам, что это невозможно.

«Уж если так, мне дерево давай» и т. д. В подлиннике: «Укажи мне плод, который истлел бы прежде, нежели будет сорван (то есть который не увядал бы в моих руках, который вкушал бы я свежим с дерева жизни), укажи мне деревья, с каждым днем зеленеющие новыми листьями» (то есть которые не наскучили бы мне однообразием, на которых не было бы ни одного увядшего листа — то есть дай мне наслаждения свежие, вечно новые, не пресыщающие).

«Я с жизнью прощаюсь сам». В подлиннике: «Пусть будет то моим последним днем» (то есть тогда я отдаюсь тебе вполне, отказываюсь от жизни, о какой мечтал прежде, отказываюсь от всех своих высших стремлений, нравственно умираю).

«И время на косу падет». В подлиннике: «И пусть тогда исчезнет для меня время» (то есть прекратится моя жизнь, иду я в твое царство — царство нравственной смерти).

«На жизнь или на смерть прошу две строчки». В подлиннике: «Заклинаю тебя жизнью и смертью, дай мне записочку».

«В безустах прямой делец мужает». В подлиннике: «Только в неутомимой деятельности мужает человек».

«Пускай для образца создаст вам идеал». В подлиннике: «Пусть он сочинит из вас идеал» (а я не берусь за то, чтобы вместить в тебя все совершенства).

Итак, Мефистофель становится неотлучен от Фауста. Прежде всего он издевается над прежними его занятиями — мистифирует пришедшего к Фаусту ученика, внушает юноше презрение к наукам, в которых можно найти (по его мнению) только тупоумные нелепости или пустословие, — одно шарлатанство ведет к существенным выгодам. (Заметим, что Мефистофель осмеивает в науках только действительно нелепые стороны и школьное педанство, — стало быть, его отрицание ведет к развитию наук.)

«Но мне, клянуся бороною». В подлиннике: «Но мне, с длиною моею бороною».

Погреб Ауербаха.

Первая страсть, которую Мефистофель хочет довести Фауста до забвения высоких потребностей его натуры, — самая низкая

из сильных физических страстей — грубое, грязное пьянство. Но Фаусту оно отвратительно. Первая попытка Мефистофеля решительно неудачна.

Конечно, мы поняли бы трагедию Гете односторонним образом, если бы кроме одной общей мысли — провести Фауста (человека в его стремлении к истине) через искушения жизни, не видели и другой мысли в выборе различных сцен этой драмы: Гете хотел, чтобы в его творении отразились все направления, все сферы жизни. В первой части он исполнил одну половину плана — изобразил частную жизнь. Во второй он хотел изобразить государственную жизнь, развить свои понятия о значении науки, искусства. К сожалению, вторая часть, написанная или переделанная им уже во время нравственной его дряхлости, вышла неудачна, и только первая часть плана — изображение частного быта — исполнена, действительно, гениальным образом.

«Сударыня ласточка» и т. д. У Гете Фрош поет народную немецкую песню: «Взвейся, госпожа ласточка, поклонись моей милой десять тысяч раз».

«Как патер ожирела». В подлиннике: «Как доктор Лютер».

Первый стих песни, которую поет Мефистофель, в подлиннике: «Жил был король».

К у х н я в е д ь м ы .

Мефистофель ведет Фауста в кухню ведьмы с двойкою целью. Пьянство не понравилось Фаусту; но он жаждет любви: волшебный напиток ведьмы возвратит ему молодость и свежесть сил для наслаждения этим чувством. Но с тем вместе кухня ведьмы представляется вместилищем грубого суеверия, прикрашиваемого шарлатанством. Быть может, стремление Фауста к истине отуманится хитросплетенными речами и песнопениями, в которых бессмыслие облечено пышными фразами, так что может казаться глубокою мудростью. Но и эта попытка напрасна: Фауст до того презирает бессмысленную символистику, что даже не слушает ее; ему отвратительно видеть и нелепую обстановку, которою считает нужным окружать себя ведьма. — В своих сходбищах с бесами и в своих волхвованиях ведьмы пародировали религиозные обряды.

Морской кот с кошкою и детенышами выбраны быть служителями ведьмы, как безобразные животные. Мефистофель очень приятно чувствует себя среди их грубого фетишизма. Он любезничает и проказничает с ними. И они и ведьма говорят много фраз без смысла — невежественные поклонники их церемоний должны терять последний смысл, отыскивая смысл в этом сумбуре.

«Двух ваших воронов не вижу». По немецким преданиям, диавола сопровождают два ворона.

«Напрасное старанье: дух истины сокрыт» и т. д. В подлин-

нике: «Высокая сила познания от всего света сокровенного! Тому, кто не мыслит, дается она без всякого труда».

«Приятель мой в больших чинах». В подлиннике: «Приятель мой выдержал много экзаменов».

Улица.

В грубых страстях и обманах Фауст не нашел ничего, кроме отвратительного для себя. Но любовь овладевает им с страшной силой. Найдет ли он в этом высоком чувстве полное удовлетворение потребностям своей природы? Заставит ли оно его отказаться от всех других высоких стремлений? Нет; одностороннее увлечение любовью не дает человеку полного счастья.

Известно, что в имени Маргериты Гете увековечил воспоминание о первой своей любви.

Прогулка.

«Старуха за стряпчим». В подлиннике: «За духовником».

«На такой де, сударыня, предмет благотворительный есть комитет». В подлиннике: «Церковь».

Дом соседки Марты.

«Один в большой пустился свет». В подлиннике: «Уехал рыскать по свету».

«И хоть бы мне свидетельство иметь», т. е. о смерти мужа, «чтобы можно было поскорее снова выйти замуж».

Лес и пещера.

Фауст ощущает все блаженство любви, — но удовлетворяет ли оно его, может ли он успокоиться в этом чувстве? Нет, вместе с блаженством оно вносит в его сердце борьбу и страдание, — он мучится опасением последствий, он терзается, разделенный жаждою страстного наслаждения и обязанностью не подвергать позору свою милую. Он уже не может решиться, должен ли видиться с нею. Его уже начинает беспокоить совесть. Притом же, — хоть он и скрывает это сам от себя, ему уже отчасти скучно подле Гретхен. Но жажда наслаждения берет верх, — он снова спешит к Гретхен.

Сад соседки Марты.

И не только Фаусту начинает быть скучно подле Гретхен, не только совесть упрекает его, — являются положительные поводы к недовольству Гретхен: она не может разделять его понятий,

она хочет, чтобы он возвратился к понятиям, пора которых уже пережита Фаустом, к которым он уже не может возвратиться, — она требует, чтобы он для нее отказался от приобретений, сделанных его мыслью, — это невозможно.

«Не возносясь душою». В подлиннике: «Но ты не алчешь их».

«Не осуждай меня, прекрасное создание». В подлиннике: «Не толкуй ложно моих слов, моя милая» (т. е. не выводи из них, что я положительно не верую).

«Чудак! зачем подспорье мне?» В подлиннике: «Да ведь именно в этом и радость моя».

У колодезя.

Сибилла—старуха, промышляющая ворожбою и устройством любовных интриг.

«Безделка с узелком гуляет». В подлиннике: «Гадкое дело».

«Придется босиком на исповедь пройтись» и т. д. Обряды, которыми наказывал обычай девушку, которая лишилась чести. Она должна была стоять на церковной паперти, босая и в так называемом «грешном рубище»; когда потом выходила она замуж, не смела надевать венок, какой надевали невесты, бывшие честными девушками, — если же она решалась на эту дерзость, молодые люди срывали с нее венок. Девушки сыпали ей по дороге в церковь рубленую солому. Обычай эти сохранились до сих пор в южной Германии.

Часовня.

Молитва Маргериты внушена церковным католическим гимном «Stabat mater dolorosa».

Ночь. Улица перед домом Маргериты.

«Тут знаешь, почему не спишь» (на Вальпургском празднике) — на шабаше ведьм происходят сцены разврата.

Вальпургина ночь — с 30 апреля на 1 мая, — 1 мая в старину католическая церковь праздновала память святой Вальпургии. Причина, почему шабаш ведьм отнесен народным поверьем к ночи на 1 мая, состоит в том, что этот день в язычестве был одним из торжественнейших праздников.

«Скажи, зачем тайком» — песня эта переделка песни о Валентиновом дне, которую поет у Шекспира Офелия.

«Проклятый мышелов» — присловье, основанное на предании о гамельнском мышелове, который выманивал мышей своими песнями. Гете написал песню этого мышелова, которой он хвалится, что выманивает вслед за собою не одних мышей, но и красоток.

Внутренность собора.

«Ты мать родную погубила» — снотворное снадобье, которое давал Мефистофель для усыпления матери Маргериты, было ядовито.

«Dies irae, dies illa» — католический церковный гимн. Вот перевод его:

День гнева обратит в пепел вселенную.

Когда воссядет на престоле судия, откроется все тайное и ничто не останется безнаказанным.

Что скажу тогда я, бедный (или бедная), чьего заступничества буду просить я, когда и праведник едва спасется?

Что скажу я тогда, бедный?

Вальпургская ночь.

Шабаш ведьм и нечистых духов — это картина разгульнейшего разврата.

Фауст, как убийца Валентина, должен бежать от преследований закона. Маргерита одна, беззащитная, лишенная всякой отрады, а ее ждет позор — связь ее с Фаустом должна обнаружиться. Фауст пытается забытья от терзаний тоски о судьбе Гретхен в излишествах одуряющего разгула, но грязный цинизм все-таки отталкивает его, и среди сцен дикой оргии носится перед его глазами мертвенно-бледный образ страдалицы, которую погубил он. Он не может ни успокоиться, ни забытья, — он должен спасти ее.

Шабаш ведьм собирается на Брокене, высочайшей вершине Гарца. Мефистофель ведет туда Фауста.

Блудящие огоньки, по немецкому поверью — души людей, не удостоившихся спасения, особенно младенцев, умерших без крещения. Они принадлежат царству нечистой силы.

Уриан — имя дьявола.

Баубо — бесстыдная ведьма, предание о которой перешло в поверья средних веков из греко-римской мифологии.

«Поросятницу ль седлает» — Баубо едет верхом на супоросой свинье.

В рядах лиц, мелькающих перед Фаустом на шабаше, например, отставного генерала, экс-министра и т. д., слышатся пародии на нелепые толки, какие повторяются в действительном мире — все нелепое, безумное собралось на Брокен, чтобы высказаться и разгуляться с полною бесцеремонностью.

Лилит — по талмудическим сказкам первая, отверженная за свои проступки жена Адама — суеверие обратило в ведьму, являющуюся по ночам. В косе Лилиты живут легионы бесов.

Смысл грубых шуток относительно яблок и дупла легко отгадывается.

Проктофантазмист — карикатура мелочных преследователей суеверия, которые ратуют против предрассудков, не понимая оснований, на которых держатся эти предрассудки, а только голословно осуждая их нелепость, и дивятся безуспешности своей борьбы.

Красный мышонок — отвратительный цинизм — народное поверье говорит, что у ведьмы изо рта часто выпрыгивают красные мышенята и даже кошки.

Едва Фауст прикоснулся к развратнице-ведьме, как с отвращением оттолкнул ее — и с новою силою пробудилась в нем мысль о той невинной, которую погубил он. Она в оковах — она, быть может, казнена за детоубийство...

За «Вальпургскою ночью» следует у Гете интермеццо «Сон в Вальпургскую ночь, или золотая свадьба Оберона и Титании», навеянное фантастическими драмами Шекспира. Оно не имеет связи с первою частью трагедии и по своему исключительно аллегорическому характеру принадлежит уже второй части. Потому г. Струговщиков справедливо опустил эту постороннюю, произвольно вставленную сцену.

П а с м у р н ы й д е н ь .

Эта сцена в подлиннике написана прозою, — вероятно, для того, чтобы сильнее было впечатление, производимое ритмическим движением следующей (последней) сцены, чтобы и внешнею формою отличить раздумье (в Пасмурном дне) от драматизма последней сцены.

Плаха, около которой в радости беснуются ведьмы, — конечно, ожидает Маргериту — убийцу матери, убийцу брата, убийцу своего дитяти.

Т е м н и ц а .

Песни Маргериты — «Моя мать, б..., отравила меня» — переделка народной песни, которая <псется> в кабаках и тому подобных местах — это отголосок развратных преступников и преступниц, с которыми осуждена сидеть в тюрьме несчастная Маргерита. Бедная девушка близка к помешательству. Позор и страдания, муки совести, казнь и ад, — под этим страшным бременем изнемогает ее бедный ум.